

Алехан Миталиер

*«Я признан был
самим собой...»*



16+

Алехан Миталиер
Я признан был самим собой

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Миталиер А.

Я признан был самим собой / А. Миталиер — «ЛитРес: Самиздат», 2020

ISBN 978-5-532-04567-5

В сборник вошли новые произведения Алехана Миталиера, написанные в Венгрии, отзывы и рецензии на его творчество, воспоминания друзей и коллег, а также размышления самого писателя о своей жизни, творчестве, литературе. Книга адресована специалистам, занимающимся современной литературой, а также широкому кругу читателей.

ISBN 978-5-532-04567-5

© Миталиер А., 2020
© ЛитРес: Самиздат, 2020

Содержание

Интервью с автором	6
Зеленый ветер	20
Зеленый ветер	20
История госпожи Шарицки	22
122 минуты снегопада	25
Конец ознакомительного фрагмента.	27

«Смысл жизни прост: её надо прожить»



Интервью с автором

Литературное досье

Алехан Миталиер (настоящее имя – Алихан Муталиев) родился в Казахстане в семье ингушских спецпереселенцев.

После реабилитации репрессированных народов вернулся с семьей в Грозный. По образованию филолог, учился в аспирантуре МГУ у Н. И. Толстого. Научные интересы связаны с проблемой внутренней речи и древними религиозными воззрениями и обрядами чеченцев и ингушей. Параллельно занимался литературной деятельностью.

Его рассказы, эссе, лирические произведения публиковались в периодических изданиях и альманахах, удостаивались литературных премий.

В 1992 году покинул Россию. Жил и работал в Германии, Румынии, Украине, Молдове, странах Ближнего Востока. Последние годы живет в Венгрии, продолжает заниматься литературным творчеством, проявляет интерес к исследованиям истории, языка и культуры венгерского народа.

В 2015 году вышла изданная за рубежом книга «О!», получившая признание читателей и критиков.

В эти дни Алихан Муталиев отмечает свой день рождения. В сборник, который вы держите в руках, вошли новые произведения Алехана Миталиера, отзывы и рецензии на его творчество, воспоминания друзей и коллег, а также размышления самого писателя о своей жизни, творчестве, литературе.

В преддверии юбилея писателя с ним встретилась журналист Марина Комогорцева.

М. К.: Я сижу в плетеном кресле на уютной летней веранде дома в маленьком венгерском городке с удивительным названием Тата в ожидании хозяина – Алихана Муталиева (Алехана Миталиера).

Стремительная походка, дымящаяся сигарета, открытая, располагающая к общению улыбка – и я сразу попадаю в ауру его энергетики.

Мы долго беседуем, потом наш разговор продолжается по дороге (Алихан показывает мне город, знаменитое озеро, которое я видела на его фотографиях), по пути останавливаемся, когда находится интересный ракурс для съемки, иногда присаживаемся выпить кофе во дворике кафе. Мы давно знакомы, поэтому разговор складывается легко и непринужденно.

М. К.: С какого возраста ты себя помнишь? Твои самые сильные детские впечатления?

А. М.: Примерно с того времени, как мы вернулись домой, на Кавказ, после высылки, т. е. примерно с 4–5 лет. Первые детские воспоминания связаны с 1960-ми годами – появление дома телевизора, поездки в горы (нас даже с детским садом туда возили). А горы я считал своим достоянием. Я не думал об их труднодоступности – они были моей собственностью и моей жизнью. Еще всегда испытывал какое-то потрясение от общения с животными, у меня была своя собака, свой баран, своя «коняшка» – мои верные слушатели и собеседники.

Сохранилась в памяти школа (ее тогда только построили). Меня очень удивляло, что наши учителя были не похожи на чеченцев и ингушей, они были совершенно другими, и я понял, что, оказывается, есть и такие... Меня удивляло, что они преподают на русском языке, и мне это нравилось.

Еще помню, что в доме было много книг, которые я не успевал читать; меня злило, что их так много, а я еще плохо читаю. И особенно этот огромный книжный шкаф, который почему-то запирали на ключ...

Я не понимал, почему от меня не прячут, например, яблоки или конфеты, а книжный шкаф был закрыт, как будто хранил какую-то тайну. А всякая тайна, как известно, притягивает. Вот и меня притянуло...

М. К.: Да, детское сознание хранит генетическую память, память рода... Ты можешь назвать себя носителем этой памяти?

А. М.: С этой памятью получился какой-то казус... единственную родословную, список её, почему-то вручили мне... хотя в семьях нашего рода было много детей. И я был поражен, что там столько имен, столько людей и что я там где-то 12-й или 13-й по счету от предка. Тогда я поразился тому, что у меня не короткая история, как у обычных людей, а очень длинная, и даже сверхдлинная, которая вовсе не привязана к тому месту, где я жил и где жили мои последние предки... И с каждым из этих имен были связаны свои истории и, что особенно важно, – отнюдь не только героические, но и весьма неприглядные...

И, только повзрослев, я понял, что на Кавказе все истории преподносят только как героические, а у меня было очень много не героических... Тогда же я сделал открытие, которое меня потрясло: я просто случайно оказался на Кавказе, потому что мой прапрадед ушел с Кавказа в Турцию, участвовал в войне против России, был участником восстания 1859 года, а потом уже мой прадед вернулся на Кавказ... Получается, что если бы прадед не вернулся, то у меня была бы совсем другая история... Эти уходы и возвращения были частью жизни нашего рода. Вот и у меня то же самое – Казахстан, Чечено-Ингушетия, Венгрия...

Но я знаю, что если не я, то мой сын или внуки, или правнуки когда-нибудь вернуться на Кавказ.

М. К.: А ты интересовался истоками своего рода?

А. М.: По последним данным, которые появились благодаря развитию генетики (хотя я отношусь к этим исследованиям с недоверием), я являюсь представителем загадочной гаплогруппы L3. Эта древнеиранская группа очень древняя, но немногочисленная, и, если следовать современной науке, это индоевропейская группа, распространенная не только среди чеченцев и ингушей, но и на территории Грузии. Эта группа состоит в основном из так называемых орстхоевцев, с которыми связан один из величайших эпосов мира – нарт-орстхойский эпос. А мы знаем, что наличие эпоса у народа определяет очень многое в его историческом и духовном развитии. И когда я упоминал «длинную» историю, получается, что группа L3 тоже имеет длинную историю. С удивлением обнаружил среди них народ бурушаски, обитающий где-то в Пакистане и считающий себя потомками Александра Македонского. Вот такие виражи иногда бывают в лабиринтах человечества...

А имя моего предка Гаги встречается в истории древней Армении, где есть известное место Гагикашен, потом обнаруживается где-то в XIII веке (в лице порубежника царицы Тамары – Гаги, который якобы контролировал земли, входящие сегодня в состав Чечни и Ингушетии).

Об истории и значении своего рода и своей принадлежности к нему я могу судить по такому элементу материальной культуры, как замок моих предков (примерно XIV–XVI век), который был разрушен когда-то стихийным бедствием... Он был именно замком, а не какой-то одиночной башней, входящей в состав башенного комплекса в горах. Этот факт еще нуждается в изучении, осмыслении.

Кроме того, интересно распространение представителей моего рода по миру: часть моего рода ушла в Грузию, другая часть осела в Чечне, третья осталась в Ингушетии, часть из которой в свою очередь мигрировала в Турцию, Ирак, Сирию в XIX веке.

Поэтому мне по природе абсолютно чужд местечковый национализм – люди моего рода живут во многих точках мира, даже самых немыслимых, и самое важное, что все они достойные люди и занимаются добрыми делами.

М. К.: Если бы ты сегодня встретился со своим дедом, что бы ты ему сказал? О чем бы поговорил?

А. М.: У меня два деда было, оба погибли, деда по отцу расстреляли. Я сказал бы, что я его хорошо помню, что он всегда был со мной и что я постарался не опозорить его доброе имя, и, наверное, все-таки я один из его преданных внуков – где бы я ни был, я всегда назывался его внуком (даже не именем отца). Имена деда и прадеда я пронес через всю жизнь и благодарен им за все, хотя в наследство мне достались только две их фотографии и украшения от уздечки коня, вот они до сих пор со мной.

М. К.: Что для тебя – родина? Дантону приписывается фраза «Нельзя унести родину на подошвах своих сапог» (досл. пер. «Возможно ли унести с собой свою родину на подошвах башмаков?») Ты согласен с этим высказыванием?

А. М.: Насчет сапог – нет, но если в голове, то можно унести (смеется).

Родина – это очень сложное понятие... С одной стороны, не то, что у каждого человека свое понимание родины, есть и коллективное признание родины – как места, своего рода *genius loci*... У меня такого нет. Чем больше я изучаю историю, философию, жизнь вообще, родина становится все больше и больше, то есть я не могу сегодня признать территорию обитания моих соотечественников родиной, особенно если знаешь, что у тебя длинная история. Сейчас ещё раз поясню это...

Когда в XIX веке на Кавказ пришла Россия, нам сказали, что наша история только начинается, что мы будем жить по новым законам, нас просветят и т. д. – и с этого момента начинается наша история, потому что прошлое у нас темное и неизвестное, никто о нас не знал, не слышал, не писал. Некоторое время назад считалось, что история чеченцев и ингушей – короткая, где-то 200 с чем-то лет, но появились новые знания, история начала удлиняться, и неожиданно для нас обнаружили древние источники на грузинском языке. Из них следовало, что основателем Картли был Фарнаваз, а его жена оказалась представительницей вайнахского племени дзурдзуков, и, таким образом, история моего народа удлинилась сразу на 2200 лет.

И мое представление о том, кого я считаю своим соотечественником или близким себе человеком, сильно изменилось, благодаря изучению длинной истории. У меня появились новые родственники-итальянцы, англичане, американцы, которые для меня остаются моими людьми-кавказцами. Даже если они изменяют фамилии, укажут другую национальность, все равно они часть моей родины, часть меня самого.

М. К.: Почему ты вообще стал филологом? Это было твое желание? Не жалел никогда об этом? Это был Чечено-Ингушский университет, провинциальный, по

большому счету. Можно ли сказать, что тебя как интеллектуала и творческую личность сформировал именно университет?

А. М.: Филологом я стал случайно. Это смешно, но так получилось, что моя мама сдала документы на филфак, потому что на истфак, куда я собирался, был большой конкурс, и она боялась, что я не пройду. Филологию я тогда не считал серьезной наукой, хотя был «заражен» литературой и мне хотелось самому что-то писать...

Когда я поступал на филфак, случилась забавная история: мне захотелось продемонстрировать свою начитанность и ошарашить экзаменатора, и вместо анализа чеховского рассказа «Ионыч» я начал ему рассказывать о традициях Чехова в творчестве Фланнери О'Коннор. Как оказалось, я удивил своими знаниями преподавателя, о чем он много раз мне потом говорил, интересуясь при этом, где же я достал эту книгу Фланнери О'Коннор. И Фланнери О'Коннор, и другие писатели, которые на меня потом воздействовали, не были в списке обязательного изучения на филфаке. Очень рано я открыл для себя зарубежную литературу – увлекся античностью, современными зарубежными авторами, книги которых сложно было найти в те годы. Но я собрал огромную библиотеку, которой бы мог позавидовать любой коллекционер. В ней много раритетных изданий, книг, которые не переиздавались с тех пор.

Если говорить об университете и о его влиянии на меня, то я не чувствовал, что это был какой-то узконациональный или провинциальный университет. У нас было много замечательных преподавателей – например, один из них предложил мне заниматься проблемами психоанализа в литературе, что было в те времена достаточно смелым шагом. Помню, что тогда я на основе своих знаний психоанализа с максимализмом самоуверенного молодого студента раскритиковал некоторых чечено-ингушских писателей, указав на отсутствие в их произведениях психологизма, чем вызвал их недовольство и возмущение... за что и поплатился, получив вместо красного диплома обыкновенный.

А уже на III курсе я познакомился с Никитой Ильичом Толстым и понял, что обязательно должен быть либо в МГУ, либо в Институте славяноведения, чтобы заниматься теми проблемами, которые обозначил для меня Никита Ильич. То есть для меня сам университет (Чечено-Ингушский или какой-то другой) был важен только как место, где я мог получить системные базовые знания, чтобы сделать следующий шаг, что в принципе и случилось... а так, сама по себе филология на начальном этапе не представляла для меня интереса, это пришло позже, когда я понял, что я смогу и в этой области что-то сделать, добиться чего-то.

М. К.: И в продолжение темы... Как повлияло на тебя общение с Н. И. Толстым, с этим человеком, ученым, носителем высоких академических традиций русской культуры?

А. М.: В первую очередь повлиял сам круг общения, куда меня ввел Н. И. Толстой, – это были большие ученые, авторы монографий, учебников по филологии. Я их увидел вживую и мог с ними общаться. Это был переход от кабинетного общения к живому, что было очень важно не только для меня, но и для них тоже.

Особенно запомнилось, как Ольга Михайловна, мать Никиты Ильича, призналась, что очень благодарна ему, что в доме Толстых опять появился кавказец... Я не чувствовал себя чужеродным элементом в кругу этой семьи и готовился к собеседованию в кабинете Никиты Ильича, который подбирал мне книги для подготовки, учебники, работы разных ученых. Кроме того, он сразу привел меня на кафедру русского языка МГУ и представил как стажера-преподавателя, своего ассистента и аспиранта. Познакомил со своими коллегами и учениками, которые встретили меня очень дружелюбно и заинтересованно – они поверхностно

знали кавказскую цивилизацию, а у Никиты Ильича было желание уделять ей большое научное внимание.

И слова Ольги Михайловны («наконец-то кавказец появился в нашем доме») – это было глубоко личное, связанное с прошлым, когда кавказцы часто бывали в их доме (я не говорю о Льве Николаевиче – достаточно вспомнить «Хаджи-Мурата» и дружбу с Садо Мисербиевым. И самое забавное заключалось в том, что ингуши охраняли покой Льва Николаевича в Ясной Поляне).

Общение с Никитой Ильичом, ярким представителем русской науки и культуры, позволило мне по-другому взглянуть на историю завоевания Кавказа и его последствия. Я увидел некий просвет в бесконечной череде кровавых историй колонизации моего народа и, как бы банально это ни звучало, нашел глубокий смысл в этой трагической истории. Я понял, что наши культуры могут взаимодействовать и взаимообогащаться.

М. К.: Ты уже много лет живешь за рубежом, но твоя юность пришлась на 70-е годы – не самое простое время для реализации возможностей и стремлений молодого человека... Что формировало твои вкусы, интересы? Что помогало сохранить независимость взглядов, индивидуальность? Кто в те годы оказал на тебя особенное влияние?

А. М.: Прежде всего, это, конечно, музыка – The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin. Когда почувствовал, что невозможно слушать Led Zeppelin и читать о том, «как закалялась сталь», я понял, что советская система того времени находится в катастрофической ситуации.

Кроме того, как я говорил, мне тогда не близка была русская литература, все страсти, идеи и содержание которой, кроме Пушкина, – это пафос страдания, заполненного религиозными идеями, философскими развернутыми монологами Толстого, Достоевского. Это не помогало жить, двигаться вперед – можно было только любоваться прошлым или сострадать настоящему... это меня смущало в русской литературе. Единственным писателем, повлиявшим на меня тогда, был (и до сих пор остается!) Чехов. Ну, и конечно, западная литература – Лондон, Силлитоу, Фицджеральд, Кортасар, Маркес, Джойс... могу перечислить десятки имен.

На каком-то этапе я случайно натолкнулся на книгу Джона Уэйна «Зима в горах»... Для меня, «молодого горца», само название уже было каким-то манящим; я был поражен прочитанным; вопросы, которые ставил писатель, мне были близки, как и художественные приемы описания проблем, особенно валлийцев и шотландцев. Я увидел, что национальный вопрос может освещаться и так, как это сделал Уэйн. Мне его высказывания очень близки, например:

- В моей биографии нет ничего интересного, – сказал он, отхлебывая из стакана.
- Что-то все-таки должно же быть. К примеру, чем вы занимаетесь?
- Страдаю. Это моя профессия – страдать. Шагаю по земле и весь исхожу болью. Горькая ирония большого мастера...

Ну и, конечно, кино. Оно тогда переживало расцвет... До сих пор удивляюсь идеологам, разрешавшим прокат западных фильмов, где показывали совсем другой образ жизни, другие идеалы, входившие в явное противоречие с нашей советской действительностью. Я до сих пор иногда пересматриваю эти фильмы старых мастеров.

М. К.: Ты – человек, открытый разным культурам, а в какой ощущаешь себя наиболее комфортно? Какую считаешь родной?

А. М.: Более комфортно я ощущаю себя, безусловно, в кавказской, одной из древнейших культур мира, и именно потому, что она по духу универсальна в своих проявлениях – она стала основой многих других культур и одновременно вобрала и вбирает в себя лучшее.

М. К.: Говорят, что язык человека формирует его мировоззрение и его поведение. Это так?

А. М.: Я думаю, что человека формирует сознание. Что значит в этом вопросе язык? Все, о чем я говорил, формирует человека, начиная с семьи, взаимоотношений в семье. И тут, по моему, совершенно неважно, каким языком ты пользуешься.

М. К.: То есть получается, что ты мыслишь на родном языке, а пишешь на русском?

А. М.: В зависимости от ситуации... Когда обращаюсь к духовно-обрядовой сфере жизни или в какой-либо острой ситуации, я с русского сразу перехожу на родной, а в качестве рабочего языка, языка науки и литературного творчества остается русский, для меня это способ познания мира. Кроме того, на ингушском языке нет такого количества источников (в том числе литературных переводов, научных изданий), чтобы я читал и думал на нем. К большому сожалению (или не к сожалению), так получается...

М. К.: Сегодня довольно много писателей – выходцев из бывшего СССР и России – живут и пишут в эмиграции. Многие – на языке страны, в которой проживают. Как ты относишься к подобной творческой ассимиляции?

А. М.: Во-первых, к любой ассимиляции я отношусь плохо, во-вторых, нынешняя миграция во многих отношениях мне кажется спекулятивной (это отдельная проблема – здесь не буду ее развивать); я себя не чувствую эмигрантом (я уже об этом не раз говорил) и не хочу встраиваться в чужое общество, как многие люди, которые покупают виллы, вкладывают немалые средства во что-то в чужой стране и пытаются стать больше своими, чем они есть, но это их личный выбор. Кстати, я об этом писал в своих рассказах. Эта ассимиляция для многих проходит трудно, болезненно в силу определенных национальных особенностей, несовместимости правил жизни, менталитета, но у них есть цель – остаться там жить.

М. К.: Но таким образом увеличивается их читательская аудитория.

А. М.: Но мы же с тобой знаем пример Бродского, который пытался писать на английском, чтобы расширить аудиторию, сделать себе имя в англоязычной литературе, ну и что из этого вышло? И таких примеров много.

М. К.: Ты уже много лет живешь в Венгрии. Это как-то отразилось на твоём ощущении жизни?

А. М.: Ну примерно так, что я поехал отдыхать на курорт и надолго там задержался – и все...

М. К.: А вообще, как ты считаешь, твоя проза, переведенная на венгерский язык, будет близка и понятна венгерскому читателю?

А. М.: Для меня не существует таких понятий, как «венгерский» читатель, «английский» читатель, «русский» читатель. Наверное, будет близка, но не в национальном ключе, а потому, что читателям, как и мне, интересны типы людей с изюминкой, с чудинкой... они есть везде,

и везде практически одинаковые. Например, у меня есть венгерские типажи – Пишта, Кати, но точно такие же гуляют в любом нашем ауле или на другом конце планеты. Я пишу просто для людей, без оглядки на их национальность.

М. К.: Один из твоих замечательных циклов – это венгерские зарисовки. Чем тебе интересны венгерские типы? Для тебя существует понятие «национальный характер»? Или это искусственно сконструированная категория?

А. М.: Да, это во многом декоративное, надуманное понятие. Разве ты не замечала, что о национальном характере люди вспоминают в ситуации каких-то конфликтов – политических, экономических, социальных. Здесь я могу говорить только об «обществах» людей. На моем творчестве и мироощущении жизнь в Венгрии никак не сказывается – я мог бы жить и в Германии, и в Англии, и везде писал бы так, как пишу.

С точки зрения психологии для меня нет никаких венгерских типов – есть типы людей. Если взять венгра, грузина и ингуша, в них много общего – все гордые, все на конях, все с саблями, вооружены, этакий собирательный образ джигита. Они не теряют благородства, освобождают девушек из неволи, забирают у богачей золото, делят его между бедными и т. д. То же самое можно сказать о русском национальном характере – это прежде всего народ, который создал большое общество, вобравшее в себя черты многих народов. Поэтому, как мне кажется, слишком узко в наше время размышлять о национальном характере – можно ли, например, говорить об американском национальном характере? Нет... но можно говорить об американской политической доктрине, о доктрине внутренней политики. А такое понятие, как «американская мечта», которое так любят американцы, вообще не несет в себе ни этнической, ни национальной идентичности.

Бывает, что народы-братья превращаются в людей разных национальностей, с разным национальным характером, как это вдруг обнаружилось в отношениях между русскими и украинцами, между чеченцами и ингушами. Иначе говоря, вдруг ни с того ни с сего обнаруживаются национальные различия, но они все-таки больше политические, искусственно созданные. А ведь и в философской мысли, и в мировой литературе утверждается мысль о том, что люди в принципе принадлежат единой культуре: они плачут и смеются одинаково, им всем нравятся красивые женщины, природа, спокойная жизнь, то есть если общество исповедует общечеловеческие ценности, то вопросы такого рода обычно не поднимаются.

М. К.: Вообще ты много размышляешь над природой творчества... Случались ли неожиданные открытия в этой области?

А. М.: Как только я взял фотоаппарат в руки, я стал больше проникать в суть тех же растений и относиться, например, к цветам, уже не просто как к цветам, а как к чему-то большему, по-другому.

В этой связи я всегда вспоминаю слова старика-мирида о том, что, если рядом с тобой нет близких, родни и ты не можешь давать милостыню в святой четверг, тогда поливай комнатный цветок или деревце в саду, обращай к Всевышнему и поминай всех людей, дорогих твоему сердцу.

И (к вопросу о связях) эти же мысли я нахожу в японской культуре – в духовном мире японцев, в японской духовной традиции, японской литературе. Я всегда пытался понять систему образов японской живописи или китайско-японской живописи, способность созерцать предметы и любоваться деталью.

Вот вспомнил, как в известном фильме Антониони (Blow-Up) герой-фотограф проходит этот сложный путь: бывает, что видишь одно, а за этим одним не замечаешь чего-то более

важного, интересного или загадочного... К примеру, ты можешь фотографировать человека – и вдруг видишь, что в кадр попала обалденно красивая женщина, в которую ты мог бы даже влюбиться... это кортасаровское, фильм снят по рассказу Кортасара.

Описание детали – это, конечно, важный художественный прием, но нельзя им чересчур увлекаться, это приводит порой к творческой катастрофе. Вот почему мне неинтересны многие современные писатели. Да, они следуют всем канонам, знают, как «делаются» роман, повесть, рассказ, но когда это неискренне, когда нет этой пронзительности сердца, души, настоящей трагедии, когда это пишется все «со стороны» – это уже начало катастрофы.

Вот я читаю, например, книги о выселении народов, раскулачивании, вообще о сталинском периоде, и мне важно понять, что двигало этими авторами, которые, по сути, ничего не знают об этих трагедиях. На фоне этих трагедий они вполне прилично жили, получали образование и не знали даже десятой доли тех испытаний, которые выпали на мою жизнь и жизнь моих родителей. Сегодня трудно поверить, что я мог быть отчислен в 1973 году из ростовского университета по национальному признаку.

М. К.: Кто в твоей жизни (личной и творческой) оказал на тебя наибольшее влияние? Из родных и близких? Из наставников?

А. М.: Мой погибший старший брат в первую очередь, Никита Ильич Толстой и, наверное, старики моего тейпа, безымянные... я не называю их имен – такая общая коллективная мудрость моего маленького народа.

М. К.: А когда ты написал свое первое произведение? Кто был их первым читателем и критиком?

А. М.: Народный поэт Джемалдин Яндиев – он же читатель и строгий критик.

М. К.: А с чего обычно у тебя начинается рассказ или стихотворение? С события, наблюдения, ассоциации? «Из какого сора», как сказала А. Ахматова?

А. М.: Конечно, с первого толчка [смеётся] – это когда меня оставляют в покое! Я нахожусь в уединении и готов писать... даже неважно, на какую тему, – просто оставьте меня! Я сажусь и пишу...

М. К.: Как ты обычно пишешь? По вдохновению? Переходя из кафе в кафе (как некоторые писатели)? За рабочим столом? Что значит для тебя фраза: писатель должен изучать жизнь. Или это просто «пустая метафора»?

А. М.: Мой рабочий стол никакого отношения к писательству не имеет; из кафе в кафе я не перехожу – в кафе я отдыхаю, думаю о чем-то, если позволяют думать. Иногда неожиданно приходит даже не вдохновение, а какое-то острое желание что-то записать, переписать, отложить, а потом опять вернуться к этому.

Извини, но я не понимаю, что значит «изучать жизнь» – затрепанная метафора, которая ровным счетом ничего не значит. Писатель должен не изучать жизнь, он должен переживать ее, чтобы его произведения не были имитацией реальной жизни. Поэтому я бы сказал, что писатель должен изучать себя, свою внутреннюю жизнь, и чем больше он себя узнаёт и познаёт, тем богаче и сильнее его творчество.

М. К.: Получается, что творчество по сути своей всегда автобиографично? И у тебя тоже? Как можно определить жанр твоей прозы? Фрагменты, зарисовки, ассоциации, рассказы, «эпифании»?

А. М.: Конечно, автобиографично, но это не откровенный автобиографизм, который «про жизнь», а автобиография как импульс к написанию чего-то, сравнению, размышлению. Да, в этом смысле автобиографично.

По поводу жанров... я бы назвал это мини-прозой, но в то же время она отражает то, как я живу, какие-то отрывки мыслей, паузы. И когда ты пытаешься записать это, то понимаешь, что жизнь человека укладывается всего в несколько строчек и что есть вещи, которые не надо развивать в большую форму. Хотя, возможно, это слишком несправедливо по отношению к моим персонажам, но это факт – я не могу писать о людях, в жизни которых нет внутреннего движения.

М. К.: Читатели заметили, что твое творчество совершенно свободно от идеологических или политических канонов, а его автор?

А. М.: Это смотря что считать таким канонем. У меня пока еще есть непреодолимое табу, связанное опять-таки с моим происхождением, с моими адатами; кроме того, я редко вторгаюсь в описание интимной жизни своих персонажей.

М. К.: А хотелось бы?

А. М.: Пока не было такой необходимости вторгаться в эту сферу только потому, что это хорошо «продается». Что-то вроде кинотрюка, только в литературе. Совсем не сложно сочинить «постельную» сцену – гораздо сложнее описать, что происходит с людьми до неё... а то, что будет после, уже не так важно.

М. К.: А сам ты как относишься к себе как к писателю?

А. М.: Очень критично, сложно, потому что я никак не могу назвать себя писателем. Даже трудно определить это состояние, потому что чем больше я читаю современных авторов, тем больше мне не хочется быть писателем и иметь какой-то статус в писательском мире. Я не хроникер, не журналист – просто мне есть что сказать, и, скорее всего, я где-то близок здесь к Анри Мишо с его стремлением к разрушению жанров, которое шло от убеждения, что поэзия (прошлая и современная) себя изжила. Мне кажется, что у меня есть сторонники, которые меня поддержат.

Кроме того, мысли современного человека настолько усложнены потоками информации, что трудно выразить то, что происходит сейчас в нашем сознании, средствами как традиционной, так и «сверхавангардной» поэзии.

М. К.: Следишь ли ты за современной литературой? Как относишься к ней? Кто из современных авторов кажется тебе наиболее интересным?

А. М.: Слежу в меру своих возможностей, но меня не покидает ощущение, что одна группа писателей просто строчит «заказные» произведения, другая часть работает в каком-нибудь модном «тренде», третья просто занимается халтурой ради заработка. Мы переживаем процесс серьезной коммерциализации литературы, искусства, художественной культуры в целом – так что очень трудно найти в этом потоке что-то ценное и необходимое для себя.

М. К.: Твой последний сборник (издан в Чехии в 2015 г. – М. К.) получил высокую оценку читателей и критиков. Как ты считаешь, все ли было ими понято и отрафлексировано?

А. М.: Нет, конечно... Но я не стремился, чтобы меня все понимали. Это невозможно. Может быть, это оттого, что я пытался поработать в разных жанрах, испробовать разные формы, разные приемы, литературные техники. Мне это было самому интересно... такой своеобразный эксперимент с самим собой. Отзывы, которые я получаю, больше положительные: я вижу, что меня цитируют, некоторые фразы даже становятся заголовками газет, чего я даже представить себе не мог. Но, по большому счету, меня очень мало волнует, как отзываются и как понимают... Одинаковое восприятие и понимание просто невозможно. Например, кавказцам очень близок рассказ «Сорок всадников», кому-то непонятен аул Кукушке, а для кого-то ближе житейские истории.

Поскольку я надолго выпадал из творчества, из литературного процесса, я не очень уютно в нем себя чувствую и даже до сих пор не могу считать себя автором этой книги. И это никакая не блажь, не игра – просто я хотел куда-то записать и сохранить то, что подметил, о чем задумался. Вот, например, был такой момент, когда ученые-психологи попросили меня написать что-то на их тему, я написал, им понравилось. Меня больше всего заинтересовало не то, что я написал и им понравилось, а то, почему им понравилось?

М. К.: Конечно, не могу не задать традиционный вопрос: у тебя есть любимые писатели? Есть ли у тебя критерии гениального произведения? Назови хотя бы 5 книг, которые стали для тебя главными в жизни.

А. М.: О любимых не могу сказать, а вот об уважаемых мной... это, конечно, Чехов, Джойс, Селин, Сарамбо, Хименес, Паунд, Элиот, могу многих назвать. Критериев гениального произведения нет, потому что все гениальные произведения должны быть написаны после нас. И почему мы должны вырабатывать какие-то критерии? Они у всех разные. И это хорошо...

Пять книг тоже не могу обозначить – для каждого этапа жизни есть свои пять книг, которые важны. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы долгое время по идеологическим причинам не знали многих западноевропейских, латиноамериканских писателей. Многие только сейчас начинают переводить (М. Селина, например). И когда я после большого перерыва вернулся к литературе, то обнаружил имена, которые были известны только узкому кругу специалистов, и произведения, которые не доходили до нас.

М. К.: Изменился ли ты после переезда в Венгрию?

А. М.: Стержень... нет, не изменился. А так, конечно, изменился, но я не думаю, что это связано с переездом, скорее, с образом жизни: если я больше двадцати лет находился в совершенно других пространствах и других процессах, занимаясь бизнесом, естественно, это на мне отразилось. Кроме того, у меня просто изменилось понимание людей, я стал больше анализировать их, саму жизнь. Вероятно, потому, что увидел не разницу правил жизни, а разницу существований. Даже в экономическом существовании, которое либо уравнивает шансы всех, либо приводит к трагическим последствиям.

М. К.: Знаю еще об одном (относительно недавнем) твоём увлечении – фотографии. И сейчас вот я наблюдаю за тобой, за тем, как ты ищешь ракурс, находишь что-то важное в каждой мелочи (это как у Блэйка – «в одном мгновенье видеть веч-

ность и небо – в чашечке цветка...»). Фотографии твои чем-то похожи на твои рассказы: неожиданно подсмотренные фрагменты, зарисовки, лица, детали. Я бы сказала, что они очень «литературные». С чего началось это увлечение? Как оно стало не только хобби, но и гранью творчества?

А. М.: У меня в разное время было несколько таких увлечений, с которыми расставался (иногда с сожалением). Мой брат был отличным фотографом, он говорил, что фотографировать не просто сложно, а очень сложно – и я не брался за это дело долгое время. То же самое с музыкой... Я четыре раза записывался в музыкальную школу, чтобы овладеть игрой на фортепиано, но в результате мне удалось стать барабанщиком в школьной музыкальной группе (смеётся).

Но все пришло к своему началу, причем как-то случайно: появился мой друг, у которого лет 10 назад была совершеннейшая фототехника, и он меня поражал своим мастерством в создании фотографии. Так вот он постоянно говорил о тонкостях фотоискусства, а я ходил за ним и просто снимал на телефон. Я тогда не знал ни одного технического приема, не имел представления о выдержке, о режимах съемки, мне не хватало понимания цвета, тайны ракурса. Потом кто-то начал хвалить мои снимки, а когда меня начинают хвалить, я всегда настораживаюсь и мне становится не по себе. В итоге я купил фотоаппарат, научился видеть кадр и, самое главное, открыл возможности цвета – переход желтого цвета в черный... я обнаружил на своих фотографиях стену черного и желтого, или как черный глушит желтый, или как желтое проникает в черное. Эти два цвета подсказали мне какие-то иные решения, и я уже приобрел другой, более мощный фотоаппарат, с помощью которого я мог реализовать все свои желания. Образы возникали часто случайно, потому что у меня никогда не было возможности создавать студийные фотографии, и даже на улице нет таких возможностей, поэтому получилось то, что получилось... Потом неожиданно я стал получать высокие оценки признанных фотохудожников и уже смело стал экспериментировать с фотографией, чтобы найти какой-то свой «почерк».

Фотографии позволили мне не просто выделять какие-то детали – появилась возможность усилить свою «оптику» во взгляде на людей, природу и те «мелочи», которых я вообще не замечал. Когда я увидел структуру цветов и понял, какая удивительная жизнь в ней кроется, то по-новому осознал многообразие мира и жизни как таковой. Я даже думаю, что именно фотография помогла мне после долгого перерыва вернуться к литературному творчеству.

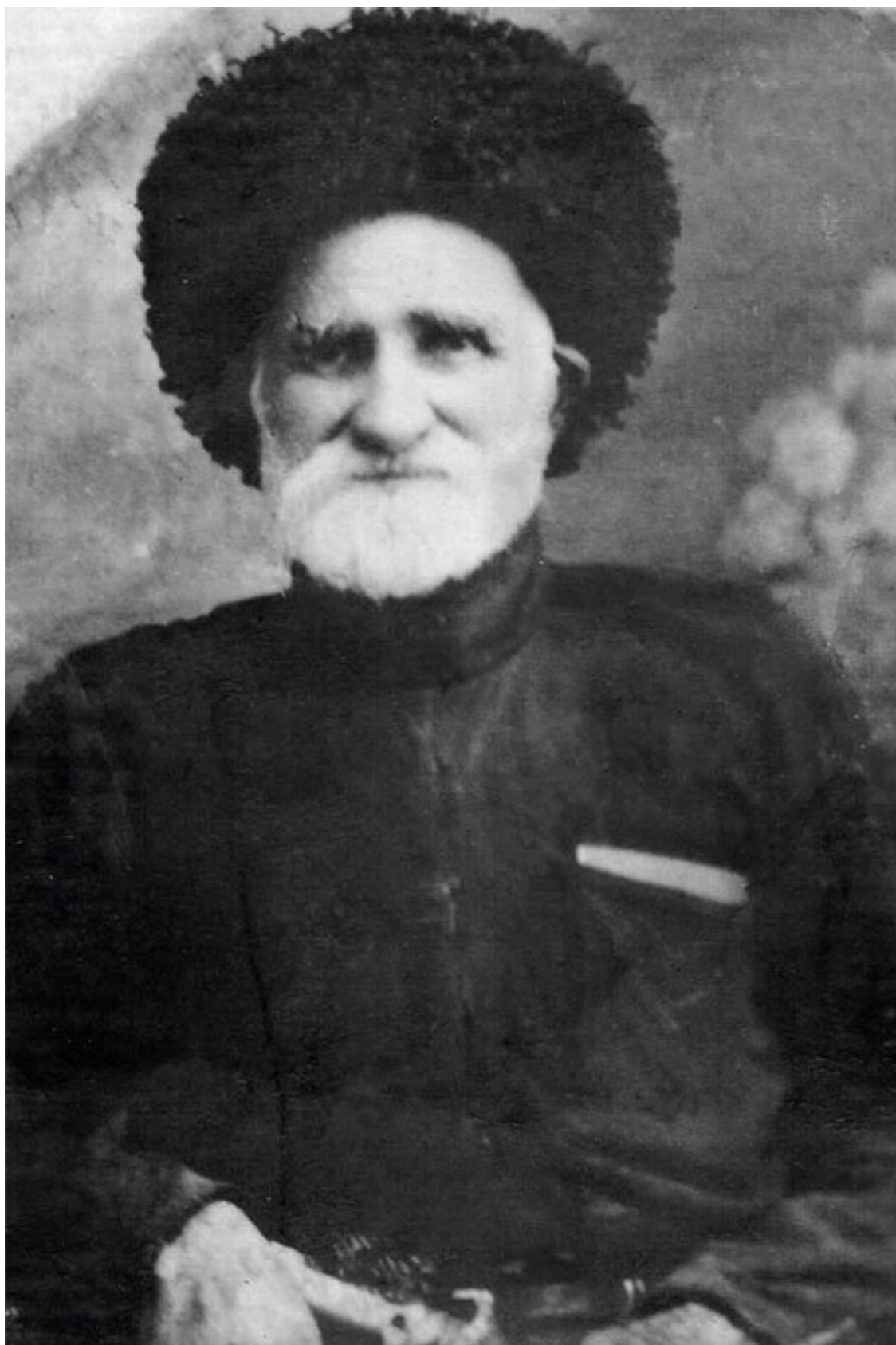
М. К.: И в конце развлеку тебя шутивной экспресс-анкетой предпочтений:

- если страна, то... горы
- если время года, то... осень
- если блюдо, то... я на диете
- если женщина, то... самая красивая
- если дом, то... крепость
- если музыка, то... «Битлз»
- если писатель, то... Джойс
- если природа, то... пригорье
- если животное, то... собака
- если напиток, то... я на диете

М. К.: Надеюсь, в юбилейные дни ты сделаешь перерыв в своей диете? Иначе какой ты кавказец!? С юбилеем тебя! Новых творческих открытий и впечатлений!



Замковый комплекс Гаги-Галаш



Лорс Муталиев, прадед по отцу (1853/55–1944 г.)



Берснакх Муталиев, дед по отцу (1878/80–1939 г.)

Зеленый ветер



Зеленый ветер

Здесь иногда встречаются два ветра – серый, тяжелый и глухой, и синий, легкий, озорной, с какими-то веселыми блесками... Когда серый «правит бал» в нашем тихом городке, все «скорые» носятся по местным дорогам, чтобы кого-то успеть спасти... а кому-то просто закрыть глаза и выписать справку о том, что он опоздал... умер... И когда они встречаются, мне становится не по себе, я чувствую необъяснимую боль и тяжесть во всем теле, пока серый

не утихнет, а синий не успокоит... И я никак не могу понять, откуда они дуют: серый – холодный и шершавый, яростный и грубый, в нем столько болезней, смертей... и синий, прохладный и успокаивающий...

Но иногда, редко-редко, они уступают свою власть ветру зеленому, напоенному запахом горных трав и цветов и чуть слышной мелодией моей далекой родины. Он едва касается меня, что-то шепчет, убаюкивает, а потом уносится дальше, чтобы излечить израненную душу еще какого-нибудь поэта-кочевника, затерявшегося в дебрях Старого Света.



История госпожи Шарицки

- *Вы вернулись?*
- *Да.*
- *Надолго?*
- *Пока не допишу одну историю...*
- *Везет же!*
- *Кому?*
- *Истории, сэр...*

...госпожа Юлиана Шарицки приходит в эту старинную церковь каждое воскресенье. Садится на темную резную скамью и начинает молиться...

Я слышу ее шепот, но не могу разобрать слов...

Она не узнаёт меня, а ведь когда-то мы были знакомы, нет, мы были больше, чем знакомы – мы любили друг друга... Но ведь прошло столько лет, всё вокруг изменилось, да и мы стали другими...

Признайся я ей, все равно не поверила бы, что я – это я, тот самый, кто мог не задумываясь перемахнуть через все границы, чтобы оказаться рядом с ней...

Но она не видит меня или... боится увидеть?

Легкий сквозняк пробегает по церкви и гасит свечи... Удивительная вещь эти свечи – их зажигают с незапамятных времен и ставят за здоровье, за упокой, за избавление от страстей... Госпожа Юлиана тоже ставит их каждое воскресенье...

И я не скажу ей, что они гаснут, так и не догорев, что она этого не замечает и продолжает молиться. И всё, что она шепчет, ведомо только ей и её Богу, но не мне, потому что я... мусульманин.

Выхожу из церкви... Иду по мощеной улице в сторону отеля, размышляя о том, что есть истории, которые никогда не будут дописаны...

Прав был портье в отеле: везет истории, но не мне...





122 минуты снегопада

«Внимание! В связи с ухудшением метеоусловий наш самолет вынужден совершить посадку в аэропорту К..л..шш-сс», – объявил пилот молдавского самолета, и я сразу почувствовал снижение, хотя последнего слова из-за шипения и свиста в динамиках не разобрал и не понял, где же планируется эта посадка.

Я только что вылетел из Будапешта и приготовился к полутора часам полета, и тут Славик (так звали старшего пилота) решил на вынужденную посадку, а если уж Славик принял такое решение, значит, риск перевалил за 50 процентов и надо сделать все возможное, чтобы свести его к минимуму.

Славика я знаю хорошо, он иногда подрабатывает в авиакомпании моего приятеля... Летчик-универсал, летает на разных машинах, надежный товарищ, за рулем не пьет, но после руля, бывает, опрокинет бутылку-вторую водки с пивом и начинает тосковать по советским временам, когда у него были постоянный заработок и достойная жизнь.

Пока я размышлял о лучших качествах Славика, мы, кажется, уже достигли цели; сейчас должно тряхнуть, но меня это мало беспокоит – шведский самолетик Saab хоть и хрупкий на вид, но, как утверждают спецы, самый безопасный в своем классе. Теперь главное, чтобы Славик посадил эту пичужку на землю, а там я уж смогу думать обо всем на свете, потому что только на земле можно думать обо всем на свете, а на воде, в воздухе и в огне человек зациклен только на том, как выбраться...

Самолетик с 29 пассажирами медленно катит к стоянке; остается сидеть и ждать, пока подадут трап, подъедет автобус и нас доставят в здание аэропорта. Первым выходит Славик, осанка важная, генеральская, будто он только что отбомбил Берлин или кишлак в Афганистане, проходит мимо, не здоровается – для него пассажиры всего лишь безликая пехота или несчастные беженцы, которых он соблаговолил взять на свой борт; за ним медленно тащится второй пилот с видом проигравшего в карты крупную сумму... С нами остается молоденькая симпатичная стюардесса, которая, как все стюардессы, мечтает летать в Париж, Лондон или в Нью-Йорк, но в ожидании своего звездного часа вынуждена вежливо улыбаться всяким там провинциалам, то есть нам...

В иллюминаторе вибрирующего самолетика я вижу мощный по силе, бешеный снегопад... мириады огромных снежинок, которые в свете навигационных огней взвихриваются цветными потоками – белыми, красными, желтыми, оранжевыми, синими.

Давно я не наблюдал такого снегопада... только однажды что-то подобное случилось в долине Дагестана, когда то ли из-за климатических аномалий, необычно теплого декабря, или какого-то генетического сбоя проснулись орды бабочек и не давали нам проехать, до тех пор пока резкий и сильный ветер не развеял их по предгорьям.

Наконец подали автобус... садимся, едем к освещенной стекляшке аэровокзала. Стюардесса молча нас покидает, отправляясь в комнату отдыха для лётного персонала, и я остаюсь один на один с пассажирами еще одного моего неудачного в жизни полета... да, и мне надо срочно позвонить матери, которая меня давно ждет и с которой я хочу побыть как можно дольше, тем более что я лечу в дни великой путаницы – от католического рождества до православного пиршества... Представляете, из лагеря прагматичных крестоносцев перелетаешь на стоянку душевных православных людей, и это действительно весело, лишь бы ко мне никто не приставал в этом аэропорту, как это обычно бывает в часы долгого ожидания, и не начинал заводить пустые разговоры, чтобы скоротать время, – во мне столько неразрешенных проблем, столько незавершенных мыслей, что меня лучше оставить в покое, и я буду всем благодарен за это.

А снег продолжает валить, и ветер бьется о стены стекляшки... Пассажиры, как водится, расселись и начинают осваиваться в новых условиях: сейчас кто-то достанет бутерброды, кто-то бутылку воды или ещё чего покрепче, кто-то уткнется в смартфон, кто-то молча уставится на соседа, словно не веря, что он летел с ним рядом. Бывают и такие, кто любит тупо смотреть на других людей и молчать, словно подбирают к ним особые ключи, – ну, да бог с ними, мне бы матери позвонить, чтобы не волновалась...

А пока... пока мне надо найти кафе или буфет, если они есть в этом богом забытом месте. Я изучаю рекламные щиты, надписи на дверях – все на румынском, табло не работает; скорее всего, мы находимся в каком-то провинциальном аэропорту (если бы Славик успел до шипения и свиста динамиков озвучить его название, я мог бы примерно вычислить место, где мы находимся), но не беда, после чашки кофе разберусь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.